Философско-антропологические исследования. 2006. № 1

Рене Мажор

Лакан как психиатр или: как не сойти с ума[1]

(Фрагменты)

Перевод с **английского** А.В. **Дьякова**[2]

Осенью 1960 г. я приступил к занятиям в интернатуре по психиатрии под руководством профессора Жана Делая (Jean Delay) в госпитале св. Анны в Париже. Я был увлечён и этим человеком, и этим местом.

Только что закончилось моё двухлетнее пребывание в современном психиатрическом центре в Монреале, где было почти столько же врачей, сколько и пациентов и где отношения с начальством были весьма дружественными. Госпиталь св. Анны оказался совершенно иным миром: со своими огромными пространствами, старинными зданиями, очень древней и сложной иерархией он скорее напоминал крепость. В то время как в Монреале пациенты и врачи не отличались своей повседневной одеждой, в св. Анне их нельзя было спутать. Приходя на работу, я должен был каждое утро надевать тёмно-синий редингот, удостоверявший для всех мои полномочия и моё место в иерархии. Пациенты, конечно же, были в больничной одежде.

Отделение профессора Делая был расположен в здании с надписью «Клиника умственных и мозговых расстройств» (Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale). Я находил слово «мозговых» неподходящим, полагая, что оно поддерживает непреходящую уверенность в органическом происхождении душевных расстройств или в дегенерации этого важнейшего органа как места локализации сознания.

Конфиденциально я встречался с профессором Делаем лишь дважды — по моём прибытии в его отделение и год спустя, после возобновления моего контракта. Стены его кабинета покрывали почетные грамоты иностранных университетов. В его фигуре было что-то монументальное, а его манера носить плащ напоминала академика, каковым он и стремился стать. В тех немногих словах, с которыми он обращался ко мне, речь шла о Поле Валерии или Андре Жиде; он никогда не упоминал мэтров психиатрии или психоанализа. Я знал, что автор этих слов, будучи психиатром, предпочёл исследованиям бессознательного работу в области психо-фармакологии и изучение применения нейролептиков в психотерапии. Однако этот bel esprit (как назвали бы его во Франции XVII столетия), бывший образчиком классической культуры, снисходил до разрешения психоаналитических консультаций в своём отделении, хотя для этого надо было принять такого человека, как Жак Лакан, у которого за спиной не было клинической практики, и который, таким образом, был для него чем-то вроде дилетанта. Впрочем, «доктор Лакан», как неизменно называли его родные и близкие, дружил с ещё одним мэтром французской словесности от психиатрии, Анри Эем (Henri Ey), Божеством и Властелином медицины своего времени. В то время как Жан Делай готовил к изданию трёхтомную работу о юности Андре Жида (которая должна была обеспечить ему кресло во Французской Академии)), Анри Эй развивал свою органо-динамическую теорию мыслительной деятельности и её нарушений. Он поощрял психоаналитические дебаты, которые во Франции только начинались, и сам участвовал в них. В 1960 г. он объединял в дискуссиях о бессознательном наиболее именитых философов той эпохи и самых передовых психоаналитиков из двух существовавших в то время школ. Лакан вышел победителем из этого соревнования между его учениками.

Я был озадачен Лаканом. Говорили, что в молодости его часто видели во время прогулки читающим Аристофана на греческом. Подобно афинскому поэту, он, даже сохраняя молчание, казался корифеем в своей области знания; а когда он говорил, его ироническая серьёзность приводила в конфуз почтительно невежественную аудиторию. Его манера одеваться, как и манера его речи, объединяла аскетизм и сибаритство, роскошь и строгость, резко отличая его и от Жана Делая, и от Анри Эя. И всё же, подобно им, он был частью той же плеяды французских врачей с выдающимися литературными и философскими способностями, хотя источники их культуры были различны. Возможно, Лакан унаследовал свой вкус в одежде и любовь к стилю от Клерамбо, его преподавателя психиатрии и наставника, однако его манера выражаться обнаруживала влияние Пишона, психиатра-националиста. Кроме того, его язык нёс отпечатки как надменного синтаксиса Бретона и теоретической прозы Малларме, так и

[1] В оригинале игра слов: «comment ne pas être fou» можно перевести двояким образом: «как не быть сумасшедшим» или «как избежать сумасшествия».

[2] Major René. Lacan comme psychiatre ou: comment ne pas être fou // Journal of European Psychoanalysis. Fall 1995-Winter 1996. N 2. (http://www.psychomedia.it/iep/number2/major.htm)

«максим» Ларошфуко, став позже более джойсовской. Самым удивительным в Лакане было то, что он очень многого ожидал от неожиданных эффектов языка как от развивающегося знания — своего рода точности теоретического описания отдельного случая.

Я решил сходить на его семинар и посетить его консультации. Тогда нас было всего несколько человек. Наблюдая его пациентов в психиатрической клинике, я задавался вопросом, почему он, в отличие от Фрейда, испытывает такой интерес к психозу. Пациенты, которых он курировал, были в основном сумасшедшими — что он, как психоаналитик, редко мог наблюдать в частной практике. Очевидно, Фрейд открыл язык бессознательного влечения через истерию, но что рассчитывал обнаружить Лакан, слушая речь безумия? Был ли он готов слушать речь неразумия? Не противопоставлял ли он его разумности? Рассчитывал ли он найти фундаментальный язык бессознательного в бреде? В любом случае, в отличие от своей частной практики на рю де Лиль[1], он слушал своих пациентов по часу и более. Он был жадно любопытен — как, например, в случае с параноидальной пациенткой, который он назвал «случаем Эммы» и на котором была основана его диссертация по медицине.

«Расскажите мне всё, дорогой мой», — восклицал этот человек, который прекрасно знал, что всё рассказать невозможно. Его фамильярность, казалось, упраздняла эту пропасть, созданную невозможностью рассказать всё. Несмотря на столь лёгкую манеру в начале разговора, дальнейшая беседа оказывалась не такой уж простой: «Садитесь, дорогой мой. Вы всех заинтересовали. Я хочу сказать, люди интересуются вашим случаем. Расскажите мне о себе». Затем, в наступившей тишине, Лакан огорошивал: «не вижу причин, чтобы запрещать вам говорить. Вы ведь прекрасно понимаете, что это значит для вас».

Уже тогда у Лакана был весьма необычный для психиатра стиль. По-видимому, изначально в беседе он играл роль бессознательного. Он не приставал к пациенту с вопросами, чтобы нарушить тишину, но показывал, что знает о том, что пациент может подумать, будто ему запрещают говорить. И если Лакан всё же задавал вопросы, они, по-видимому, были направлены не на постановку диагноза — это он вообще редко делал, — но на лечение. Его вопросы попыткой расшифровать речь пациента, а не продемонстрировать эту расшифровку. И если, отвечая на вопрос, Лакан рисковал обнаружить это, то расшифровка оставалась столь же загадочной, как и то, что было расшифровано, одна загадка повторяла другую. Несмотря на то, что стиль Лакана резко контрастировал с традициями клиники, я всегда задавался вопросом о том, почему Лакан всё ещё уважал классическую форму демонстрации пациентов аудитории, ведь его интересовала возможность учиться у них, не определяя их статуса или — скажут некоторые, — их звания. Иными словами, поддерживал ли он сегрегирующий дискурс о безумии или намеревался разрушить его изнутри?

Этот вопрос стал беспокоить меня ещё больше, когда, выслушивая монотонный бред более часа подряд, Лакан заявил: «Он совершенно нормален». Это заявление, мягко говоря, странное с точки зрения классического психиатра, вызывало вопрос: «Как не сойти с ума»? (Comment ne pas être fou?). Несомненно что Лакан меньше заботился о том, чтобы напомнить обществу о его безумии, чем о том, чтобы приспособить безумца к обществу. Поскольку Лакан считал, что нами говорит Другой, для него не было качественного различия между речью, порождённой реальностью, и речью, порождённой внутренним голосом. Взгляд Лакана на пациентов базировался на той аксиоме, что в голосах, слышимых в отсутствие собеседника, не больше безумия, чем в разговоре с другим человеком, поскольку сущностью этой коммуникации выступает непонимание. Это непонимание — фрейдистское по своей сути, ведь Фрейд ограничивал автономию субъекта, что позволяло ему вписать неразумие в рамки разумности. И в своём неутомимом выслушивании психоза Лакан, более, чем кто-либо другой, следовал путём понимания психоза, открытым Фрейдом. В своём анализе, достигая оснований психоза, скрытого в каждом из нас, он пошёл дальше, чем когда-либо отваживался Фрейд.

При всём этом внимание Лакана к психозу сочеталось с весьма строгим подходом. Этот подход не проявлялся в постановке диагноза или классификации случая в определённую категорию, но в то же время он не утрачивал самоидентификации, меняясь ролями с пациентом. Все понимали, что этот специфический дискурс — выступающий от имени психиатра или пациента (и места, в котором он высказывается), даже если последний высказывается от своего имени, — был дискурсом, который лучше всего разрешал (по крайней мере, в этой ситуации) экзистенциальный конфликт, в котором трансформируется желание или реконструируется реальность.

[1] У Лакана были неприятности с Психоаналитическим обществом из-за того, что многие свои сеансы он заканчивал через пять минут, не давая пациенту времени для тактической реализации спланированной защиты. (Здесь и далее, за исключением оговорённых случаев, примечания переводчика.)

При этом возникала прочная связь обеих речей. Однажды молодой человек потребовал выслушать голоса, говорящие о «политическом убийстве» (assassination politique[1]) — слово-портмоне вроде тех, которые так любил изобретать Лакан, в котором соединились «assassinat» («убийство») и «assistant» («помощник»). Лакан был поражён фразами типа: «Он собирается убить меня синей птицей. Это анархическая система». Временами он верил в то, что является реинкарнацией Ницше или Арто, — он родился в год смерти Арто и под тем же астрологическим знаком. Он расшифровал имя молодого человека, Жерара Примо (Gérard Primeau)[2], как название птицы, голубой сойки (Geai rare), в то время как его фамилия оказалась «Главным» (Prime). Его болезнь стала следствием несчастной любви, его возлюбленную звали Элен Пижон (Hélène Pigeon). Таким образом, он стремился вновь обрести её в своём воображаемом, в области вне-человеческого. Однако Лакан не путал воображаемое и реальность, говоря: «Я не смешиваю людей, окружающих меня в действительности, и то, что говорит через меня, я не считаю, что это мосты между воображаемым и так называемой действительностью... Я нахожусь в центре воображаемого мира, который я создаю для себя посредством языка. Слово «Главный» (Prime), прежде всего, обозначает того, кто шифрует».

Мысль о безумии — включая безумие, осмысляющее самое себя, когда безумие становится точкой самоосмысления, — усиливала любопытство Лакана, которое было не тем любопытством, которое пытается упорядочить уже известное, но, скорее, тем, что позволяет человеку выйти за собственные пределы. Читая мемуары президента Шребера, даже Фрейд был поражён тем, как анализ собственного бреда у Шребера напоминает как его учение о самолечении, так и его теорию бреда: «Будущее покажет, больше ли в моей теории бреда, чем я готов признать, или правды в бреде Шребера, чем мы готовы поверить». В конце своей беседы с Жераром Примо Лакан заключил: «Сегодня мы наблюдали очень ярко выраженный случай «лакановского» психоза с присущими ему «наложенным дискурсом», воображаемым, символическим и реальным. (Жерар читал и Арто, и Лакана.) Поэтому мой прогноз в этом случае не

[1] Англ. «political murderation».

[2] В настоящей работе имя изменено. Случай был описан в английском издании (на французском не опубликованном): Returning to Freud. Ed. by S. Schneiderman. New York: Yale Univ. Press, 1980. Изложенные здесь идеи развивались в работе: La logique du nom propre et le transfert // Cahiers Confrontation. 1986. N 15. *(Прим. Р. Мажора.)*

слишком оптимистичен... Описание этого клинического случая вы не найдете нигде, даже у такого замечательного клинициста, как Часлин (Chaslin).

Следует внимательнее присмотреться к психозу, названному по имени Лакана, во имя самого Лакана, и к тому, как Лакан понимал работу психиатра.